

«Человек-паук» и «человек-зверь» — две ипостаси «естественного человека»

От Руссо к де Саду

В XVIII веке в ряде европейских стран начал утверждаться культ всего естественного. Этому в немалой степени способствовала руссоистская философия «естественного человека» как одна из форм нововременного антропоцентризма.

В представлении Руссо, глашатая «женевских идей», «естественный человек» — это существо, чья витальность предоставлена самой себе, чье сознание достаточно свободно от нормативно-ценностного диктата цивилизации. Будучи от природы незлоблив и благоразумен, «естественный человек» не склонен к злодеяниям и потому не нуждается ни в государстве, ни в нормах и законах права.

Однако Руссо и его сторонники слишком благодушно смотрели на человека и прошли мимо многих отрицательных сторон его натуры. Веря в человеческую рассудительность, они упустили из вида, что тот же рассудок способен быть лживым, коварным и представлять значительную опасность для окружающих. Превознося свободу от искусственных условностей цивилизации, они закрыли глаза на способность человека употреблять ее во зло себе и другим. Они фактически проигнорировали то важное обстоятельство, что зло имеет свои предпосылки не только вовне, но и внутри человека, что в глубинах человеческого существа

гнездятся весьма опасные для окружающих инстинкты, аффекты, страсти, способности испытывать страх и ярость, злобу и ненависть, готовность защищаться и нападать. Это, в свою очередь, означает, что еще долго люди будут не только строить, но и разрушать, не только рождать, но и убивать себе подобных.

Концептуальные промахи руссоистской доктрины не замедлили породить философскую реакцию весьма специфического свойства. Маркиз де Сад, согласный с тем, что человеку следует быть как можно ближе к простоте естественного существования, пошел гораздо дальше невинных рассуждений Руссо. Для него теория «естественного человека» — это прежде всего апология естественного права на проявление людьми их витальных сил сексуального характера. Он утверждал, что сама мать-природа призывает к этому своих детей.

Но де Сад не ограничился апологией одной лишь раскованной сексуальности. Надвинувшаяся, а затем захлестнувшая Францию волна террора в формах революции, гражданской войны, завоевательных кампаний отозвалась в его философии «естественного человека» новой доминантой: культ сексуальности соединился с культом насилия.

По мнению де Сада, природу человека определяет сочетание двух естественных вожделений — страсти к наслаждениям и страсти к разрушению. Взаимозависимость этих бессознательных склонностей такова, что чем сильнее и радикальнее творимые разрушения, тем выше степень получаемого при этом наслаждения. Так «естественный человек» Руссо превратился из «добротного дикаря» в грубое, кровожадное, сладострастное существо, мало чем отличающееся от паука, издавна выступающего символом этих качеств.

Достоевский использовал философему «естественного человека» и в руссоистском и в десадовском вариантах. В первом случае она оказалась концептуальным, философским ядром образа князя Мышкина.

Чтобы придать этому образу реалистичность и убедительность, Достоевский вынужден был многое в князе принести в жертву. С решительностью хирурга он фактически оскопил бедного юношу, лишил его трансгрессивности, подполья, ночной души и сделал «идиотом», т. е. человеком, несшим в себе опыт былого безумия, а с ним и опыт причастности к метафизическим истинам запредельного мира. Но зато это позволило наделить князя множеством компенсаторных положительных, нравственных и интеллектуальных качеств, особой духовной просветленностью. В результате возник своеобразный баланс личностных свойств, позволивший ввести героя в мир «гнусных петербуржцев» в виде хотя и исключения, но вполне правдоподобного. Среди них появилось новое издание руссоистского «естественного человека» — доброе, мягкое, спокойное, ко всем благорасположенное человеческое существо и при этом отнюдь не дикарь.

В образе князя Мышкина много противоречий, но одно из них особо впечатляет. Достоевский не случайно строил его как образ «князя-Христа», т. е. человека в значительной степени «не от мира сего», причастного к высшей реальности. При появлении князя в России и его визите в первый же петербургский дом у принявшего его генерала Епанчина мелькает примечательная мысль: «Точно Бог послал!» Там же, у Епанчиных, Аделаида говорит князю, что он — философ и приехал их поучать, на что тот отвечает: «Вы, может, и правы, я действительно, пожалуй, философ, и, кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать...» (8, 51).

Но это лишь одна сторона дела. Другая же состоит в странном, на первый взгляд, обстоятельстве. Отчего-то все медиумы светлой метафизической реальности, оказываются у Достоевского с некой «червоточиной». Старец Зосима после смерти «провонял». Марья Тимофеевна Лебядкина оказалась хромой, т. е. с атрибутом «бесовщины». Князь Мышкин же предстает не просто однозначно прекрасным человеком, но «идиотом». Появившись в России, пройдя через все социальные слои, он бесславно и бесследно исчезает. Его Голгофой становится погружение в темноту безумия.

За всем этим просматривается страшная в своем безысходном трагизме мысль: все светлое и чистое, что приходит в этот мир, лежащий во зле, неизменно оказывается обречено на то, чтобы быть оскверненным. И, конечно же, в глазах Достоевского, руссоистская философема прекраснородушного «естественного человека» не выдерживала критики, выглядела наивной утопией и была обречена.

Значительным изменениям подверглась у Достоевского десадовская модель «естественного человека». В словаре символов русского писателя «человек-паук», «сладострастное насекомое» — это человек личного беззакония, не желающий удерживаться от искушений. Он любит погружаться в мечты и вожделения о запретных удовольствиях. Необходимость в нарушении ради них норм морали и права существенно повышает в его глазах притягательность этих удовольствий. Он не находит ни в себе, ни вокруг себя ничего из того, что могло бы образумить и утихомирить демона сладострастия, владеющего его ночной душой. Он не просто готов, но страстно жаждет потонуть в бездне «идеала содомского».

Мифологемы «человека-паука» и «человека-зверя» характеризуют имморально-криминальное поведение, при

котором безраздельно доминируют инстинктивно-организменные, витально-подсознательные начала. Разница состоит лишь в том, что в поведении «человека-паука» сексуальность доминирует над деструктивностью, а у «человека-зверя» деструктивность преобладает над сексуальностью. Но им обоим в равной степени чуждо какое бы то ни было чувство и сознание меры. В итоге возникают не просто поведенческие отклонения от цивилизованных норм, а настоящие откаты в состояния безудержной животности и кровожадного зверства.

Звероподобие — сущностный атрибут человека?

Иные аффекты и страсти, слабо подчиняющиеся власти разума, способны превращать человека в безжалостного паука и яростного зверя. Примечательны две весьма мрачные констатации, исходящие от Ивана Карамазова. В одной он универсализует феномен зверства, говоря, что во всяком человеке таится зверь, «зверь гневливости, зверь сладострастной распалюемости от криков истязаемой жертвы, зверь без удержу, спущенный с цепи». В другом суждении это качество человека максимизируется до высшей степени: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток». Метафизическим комментарием к этим антропокriminологическим вердиктам может служить рассуждение Е.Н. Трубецкого: «Когда сквозь человеческие черты явно проглядывает волчья морда, когда человек смотрит на нас острыми, злыми глазами хищной птицы, когда мы воочию видим искаженный нечеловеческим сладострастием лик сатира с масляными щеками, сладкими смеющимися глазами, заставляющими подозревать о существовании хвоста, душа впадает в трепет, ибо она как бы осязательно

воспринимает переход дурной бесконечности биологического круга в огненный круг черной магии». ⁵⁶ Может быть звериность, вопрошает далее Трубецкой, и есть подлинная сущность человека, от которой ему никуда не уйти? Все живые организмы пребывают в состоянии непрерывной звериной борьбы, и это норма их существования. Равным образом и человек — пленник своих биологических первооснов. Чудовищный характер войн и иных преступлений, в ходе которых звереет дух и является страшный лик человека-зверя, наводит на мысль, что эволюция от зверя к человеку — мнимый подъем и что человеческое — это только обманчивая личина звериного. Подобным образом рассуждают многие. И все же это, скорее всего, не так, утверждает Трубецкой. Человек, в отличие от зверя, свободен и обладает всем необходимым для того, чтобы не впасть в звероподобное состояние. Когда же подобное «впадение» совершается, это производит пугающее и отталкивающее впечатление.

Достоевский весьма тщательно изучал феномены таких «впадений» человека в животность и зверство. В «Дневнике писателя» за 1873 год он обращает внимание на описанную в газетах историю одного судебного разбирательства. 30 сентября 1872 года в Моршанске сессия Тамбовского окружного суда слушала дело крестьянина Н.Я. Саяпина, который систематическими истязаниями довел свою жену до самоубийства. Сообщалось, что он несколько последних лет избивал ее веревками и палками и морил голодом. Любимым его приемом было вынуть половицу, просунуть в расщелину ноги жертвы, притиснуть их снова половицей, а затем долго и нещадно избивать. Свидетели показали, что Саяпин всегда отличался жестоким характером. Он

⁵⁶ Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 32.

любил, например, поймать курицу и просто так, ради удовольствия, повесить ее за ноги.

Писатель попытался представить себе внешность истязателя и ему увиделся образ высокого, белокурого, с жидкими волосами мужика с белым, пухлым телом, медленными, важными движениями и привычкой говорить мало, роняя слова как драгоценный бисер. Достоевский пишет: «Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видел. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений — музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ей ноги в отверстие половицы, наш мужик начал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уж он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: “Ноги твои буду мыть, воду эту пить”, — кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец, затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, — баста! Отходит, садится за стол, вздыхает, принимается за квас... Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет в сторону, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую...» (21, 21).

Разнообразие печальных и трагических жизненных впечатлений подсказывало Достоевскому, что свойства

палача и садиста, хотя бы в зародыше, можно обнаружить почти в каждом человеке. Но звериная жестокость развивается далеко не в каждом. Если в ком-то она пересиливает все остальные свойства, такой человек становится безобразен и страшен. «Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унижить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ Божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях... Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя» (4,154).

Метафора зверя, используемая применительно к человеку, означает не только бездну «естественности», в которую может провалиться «искусственный», цивилизованный человек. Опасность такого провала всегда поджидает большинство людей. Для кого-то слишком велик оказывается соблазн свободного полета вниз, в дикую первозданность. Кому-то это напоминает возвращение назад, в материнское лоно естественных, ничем, кроме инстинктов, не контролируемых естественных вождлений. И когда эта не совсем обычная ностальгия по докультурному состоянию обретает реальное воплощение в конкретных формах поведения, в человеческом облике начинает проступать нечто звериное. Но это только один, антропологический аспект проблемы. Другой, метафизический, аспект заставляет вновь вспомнить Платона, его утверждение о том, что одна из ипостасей человеческой души сходна по своим проявлениям с диким зверем, яростным львом. Эта темная ипостась существует по своим, ей одной ведомым законам.

Она всегда сопровождала и всегда будет сопровождать человека на всем протяжении мировой истории.

Сексуальное убийство

В XIX веке тема «человека-зверя» занимала не одного Достоевского. Примерно в это же время такие выдающиеся художники слова, как Э. Золя в романе «Человек-зверь» и Л.Н. Толстой в повести «Крейцера соната» также обращаются к ней.

У Золя показательны первоначальные варианты названия романа: «Пробуждение волка», «Хищники», «Во власти инстинкта», «Страсть к убийству», «Наследственное зло». Его главный герой, машинист паровоза Жак Лантье, унаследовал недуг, проявлявшийся как состояния помрачения сознания, утраты душевного равновесия. Ему периодически начинало казаться, будто в глубинах его существа пробуждался какой-то бешеный зверь, жаждущий отомстить всем окружающим за какие-то давние обиды. «Мало-помалу он пришел к мысли, что расплачивается за других — за своих дедов и прадедов, за целые поколения горьких пьяниц, от которых он унаследовал испорченную кровь: она медленно отравляла ему мозг и превращала его в первобытного дикаря, который, точно свирепый волк, терзал в лесной чаще женщин».

Когда наступало просветление, Жаку хотелось бежать от сидевшего в нем бешеного зверя. Но зверь одолевал, и свирепое желание становилось все более неотвязным. Во время одного из таких помрачений Лантье без какой бы то ни было причины и без сколь-нибудь сознательных мотивов внезапно зверски убивает свою возлюбленную, Северину, к которой был искренне привязан.

Если Золя предельно биологизировал тему «человека-зверя», то Л.Н. Толстой увидел ее в более сложном ракурсе. Герой его «Крейцеровой сонаты», русский дворянин Позднышев, рассказывая о событиях, предварявших преступление, так же, как и Жак Лантье, использует образ пробуждавшегося зверя. Примечательно его восприятие музыкального вечера, когда его жена и скрипач Трухачевский исполнили Крейцерову сонату. Именно тогда Позднышеву показалось, что их чувственность разбужена музыкой и жена готова ему изменить. Когда же после сонаты была сыграна пьеса, воспринятая им как нечто «до похабности чувственное», он ощутил в себе «бешеного зверя ревности», жаждущего бить и разрушать. Это состояние можно было бы назвать антикатарсисом, поскольку дух вместо того, чтобы испытать просветление и очищение, погрузился в состояние нарастающей ярости, сгущающейся тьмы, жажды насилия и разрушений.

Если у Золя убийство на сексуальной почве — это скорее биологический, чем социальный феномен с преобладающей бессознательной детерминацией, то у Толстого оно предстает как социокультурный феномен, имеющий множество измерений антропсихологического, духовно-нравственного и социального характера.

Толстой в анализе причин преступления идет гораздо дальше Золя и де Сада. Его Позднышев поначалу исповедовал взгляды, весьма сходные с воззрениями французских материалистов Ламетри и де Сада. Он, подобно последнему, был убежден в неотъемлемости естественного права человека на свободные проявления своих сексуально-гедонистических склонностей. Христианские заповеди представлялись ему нелепыми условностями, которыми можно безнаказанно пренебрегать. Правда, Позднышев не доходил до крайних выводов де Сада, непосредственно

переходящих в прямую апологию преступления и был далек от того, чтобы связывать сексуальное наслаждение с причинением страданий и тем более убийством. Но несмотря на это, судьба распорядилась так, что позиция сексуального гедонизма, лишенного духовного содержания, с роковой неизбежностью вывела его на путь «максимального разрушения» — убийства сексуального партнера.

В один ряд с преступлениями Жака Лантье и Поздышева можно поставить и убийство Парфеном Рогожиным Настасьи Филипповны.

В натуре Рогожина, по-звериному хитрой и вместе с тем необузданной, преобладает буйное, дикое, разбойничье начало. Это человек с крайне ограниченным внутренним миром, слабо затронутым воспитанием и культурой. В высказываниях и поступках он предстает мрачным догматиком с авторитарным сознанием. Безжалостный ко всем, включая себя, он отличается привычкой терпеть унижения и наносить их другим. Хотя через него, как и через все сущее, катятся метафизические волны, его дух не воспринимает их, будучи совершенно закрыт для возвышенных переживаний. Ночная душа безраздельно властвует над всем его существом.

Любовь-страсть Рогожина к Настасье Филипповне мрачна и тяжела, лишена малейшего намека на цивилизованную куртуазность. Она заставляет его сообщать о своих переживаниях либо каким-то полузвериным рыком, либо же дикими выходками, повергающими всех в изумление.

К своей цели он идет напролом. И даже опасность совершить преступление не удерживает его, что и обнаруживается, когда он едва не убивает беззащитного князя Мышкина.

Страсть Рогожина убийственна в прямом смысле этого слова. Настасья Филипповна гибнет от его ножа. Но воз-

мездие почти сразу же настигает убийцу. Утратив рассудок, он в течение нескольких дней остается наедине с трупом, выказывая какую-то странную некрофилию.

В этой любовной истории столкнулись две inferнальные силы, две ночные души, обе в равной степени наделенные страстью к разрушению. Настасья Филипповна, существо из ряда вон выходящее, решительно ничем на свете не дорожащее, несла в себе всегда, с ранней юности гоовность к преступлению. В ее глазах с глубоким и таинственным мраком сумрачно мерцала ее ночная душа. Ее переполняло неукротимое, «выскочившее из мерки» чувство презрения к своему обидчику Тоцкому. И она готова была погубить себя Сибирью, каторгой, лишь бы отомстить и надругаться над своим растлителем.

Рогожина Достоевский изображает существом, максимально приближенным к меркам элементарной «естественности». В эпизодах с ним нет цивилизованных катализаторов процесса «озверения» в виде рафинированных музыкально-сонатных возбудителей ревности, как у Толстого. Здесь, в отличие от романа Золя, отсутствует неодолимая наследственная предрасположенность к патологическому насилию. Рогожин — дремучий русский мужик, ощутивший в своих руках богатство, а с ним и власть делать все, что ему захочется. Ни дух, ни дневная душа не развились в нем до сколь-нибудь значительных масштабов, чтобы начать играть сколь-нибудь заметную роль в его поступках. Его дух младенчески слаб и бессилён и потому лишен способности самовыразиться в сколь-нибудь приемлемых для цивилизованного общества формах. Он словно загнан в некий мрачный тупик и обречен в нем на медленное угасание. Его гонителем, тюремщиком и палачом выступает ночная душа Рогожина. Подобная какому-то грубому, лохматому существу, она тяжело ворочается

внутри него, подвигает его на различные дикие выходки. И, думается, окажись в руках Рогожина роскошный дворец, он мог бы из одного дикого каприза, не моргнув глазом, поджечь его. Очутись в его беспредельной власти огромная страна, он вполне мог бы, войдя в раж, расправиться с ней, как с Настасьей Филипповной. И все потому, что звериное своеволие его ночной души не располагало к иным, более сложным и более цивилизованным формам самообнаружения, а собственные духовные резервы, способные хоть как-то урезонить ее, пребывали в состоянии совершенной неразвитости.

«Сладострастное насекомое»

Другую разновидность «естественного человека» — «человека-паука» — отличает приверженность философии сексуального гедонизма. Именно ее, к тому же приправленную изрядной долей цинизма, исповедует Федор Павлович Карамазов, любивший «безобразничать с женским полом». Метафора «сладострастное насекомое» приложима к нему более, чем к кому-либо. Он не скрывает своего паучьего сластолюбия даже от своих детей: «Деточки, поросляточки, вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же Вам это понять: у вас еще вместо крови молочко течет, не вылупились! По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало...» (14, 126).

Это от него сын Дмитрий унаследовал приверженность «идеалу Содомскому», напоминающему о библейском го-

роде, населенном людьми, обладавшими паучьим сладострастием и вздумавшими посягнуть на самих ангелов, посланцев Бога.

К разряду «сладострастных насекомых» относятся Свидригайлов и Ставрогин. Не случайно Свидригайлову ад представлялся в виде темной бани с множеством пауков, а Ставрогин в тот момент, когда соvrащенная и доведенная им до самоубийства девочка вешалась в чулане, был погружен в созерцание красного паучка на листе герани.

Выказывая дикое своеволие в сексуальной сфере, «человек-паук» совершает надругательство над Природой, демонстрирует беззаконие по отношению к ней, к тем первопринципам, в соответствии с которыми она существует. И его преступления обретают метафизический характер демонического попирания коренных устоев естественного миропорядка.

Для «людей-пауков» Бог мертв, во вселенной царит безначалие, человек предоставлен самому себе и может жить так, как считает нужным, и делать то, чего требуют его инстинкты и вожделения.⁵⁷ В «Записках из мертвого дома» Достоевский рассказывает об одном арестанте из дворян: «Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью... Это был чудовище, нравственный Квазимодо... Он стал каким-то куском мяса, с

⁵⁷ Мифологема «человека-паука» сыграет роль организующего принципа при построении образа главного героя в «Лолите» В.Набокова. Он предстанет как странное двоящееся существо. С одной стороны, это интеллигент, образованный филолог, обладатель ясного, все подмечающего ума, а с другой — неукротимый растлитель, сексуальный маньяк с патологической, преступной страстью к девочкам-подросткам, «пятиногое сладострастное насекомое», лишенное внутренней свободы от своих вожделений.

зубами и желудком и с неукротимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений... За малейшее из них он был готов убить, зарезать... Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе!» (4, 63).

Человек, не имеющий возвышенных целей, пребывающий в состоянии духовной несвободы, не замечает, как его первые грехопадения превращаются в устойчивые пороки. Под напором ничем не сдерживаемых инстинктов и страстей на душе как метафизической субстанции начинают проступать знаки распада. Она лишается целостности и творческой силы и уже не в состоянии противодействовать страшной метаморфозе, в финале которой миру являются либо «человек-зверь», либо «человек-паук».